УДК 82.09(410+73)
DOI 10.20339/PhS.6-25.159

С.Б. Королева

Этнокультурная интерпретация реализма А.С. Пушкина в англо-американской критике XX века[1]

В статье рассмотрен вопрос оформления в англо-американской критике первой половины XX века этнокультурной интерпретации реализма в творчестве А.С. Пушкина и — шире — в русской литературе XIX века. Доказано, что эта интерпретация была выработана в трудах Мориса Бэринга в 1910-е годы и стала продуктивной (для англо-американского пушкиноведения) парадигмой толкования принципиальных черт пушкинского творчества. Определено, что основу этой парадигмы составило соотнесение реализма как ментальной установки на «близость природе и факту», смягченной «всечеловечностью», с такими чертами русского национального характера, как здравомыслие, верность факту, адаптивность. Выявлено, что эта интерпретация была сформирована под воздействием «Пушкинской речи» Достоевского. Определено, что, получив одобрение Д.С. Мирского, она повлияла на концепцию пушкинского творчества в трудах видных литературоведов и литературных критиков: Я. Лаврина (концепция интуиции жизни и духа времени в творчестве Пушкина), Э. Уилсона (трактовка реализма «Медного всадника» в политическом векторе), Дж. Бейли (соотнесение идейного пафоса поэмы с представлением о благоговении русского народа перед тиранами), Э. Бриггса (интерпретация «национальных вопросов» в «Медном всаднике»). Отмечено, что этнокультурная интерпретация во многом предопределила проникновение в англо-американскую пушкинистику XX века имагологического мифа о России.

Ключевые слова: *этнокультурная интерпретация, реализм, А.С. Пушкин, М. Бэринг, Д.С. Мирский, Я. Лаврин, Дж. Бейли, Э. Бриггс, англо-американская критика XX века*

The article is devoted to the development in Anglo-American literary criticism of the 20th century of the ethnocultural approach to realism in A.S. Pushkin's works and, more broadly, in Russian literature of the 19th century. It is argued that this approach was developed by Maurice Baring in the 1910s and became a productive paradigm for interpreting the fundamental features of Pushkin's work. It is proved that at the basis of this approach there is correlation of realism (as mental orientation on "closeness to nature and fact", softened by "omnihumanity") in Pushkin's poetry with such features of the Russian national character as common sense, matter-of-factness, and adaptability. It is revealed that this approach was formed under the influence of Dostoevsky's Pushkin Speech. Having received the approval of D.S. Mirsky, it influenced the concept of Pushkin's poetry and prose in the works of such prominent literary scholars and critics as Yanko Lavrin (the concept of the intuition of life and the spirit of the times in Pushkin's work), Edmund Wilson (interpretation of the realism of The Bronze Horseman through historical and political prism), John Bailey (correlation of the ideological pathos of the poem with the idea of the Russian people's reverence for tyrants), and Anthony Briggs (interpretation of "national issues" in The Bronze Horseman). The ethnocultural approach largely predetermined the penetration of the imagological myth of Russia into Anglo-American Pushkin studies of the 20th century.

Keywords: *ethnocultural approach, realism, A.S. Pushkin, M. Baring, D.S. Mirsky, Ya. Lavrin, J. Bailey, A. Briggs, Anglo-American criticism of the 20th century*

Введение

Формирование англо-американской пушкинистики приходится на начало XX в., и этим во многом определяется ее своеобразие. В Англии, как и в США, начала серьезно вчитываться в Пушкина под непосредственным воздействием «международного успеха русского романа», с одной стороны, и результатов и последствий Русской революции 1917 г., с другой [3. С. 224]. На фоне живого восприятия романов Тургенева, Толстого, Достоевского, пьес и рассказов Чехова, русской музыки и живописи, театрального искусства так же, как в контексте революционных событий и известий о глобальной переделке общественно-политического устройства русской жизни (см.: [7. С. 163–309), у английского и американского читателя в 1910–20-е годы заметно возрастает интерес к творчеству Пушкина. Соответственно, в разы увеличивается количество

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-28-00706).
The research was conducted with the support of a grant from the Russian Science Foundation (RSF, project No. 24-28-00706).

публикаций его произведений и исследований о нем и его творчестве на английском языке [23. P. 6]; его творчество изучается на созданных в начале века русских факультетах университетов Лондона, Оксфорда, Кембриджа в Англии; В США — Колумбийском университете и Колледже Нью-Йорка; в 1926 г. появляется первая англоязычная монография о Пушкине[2].

Это можно назвать внешними параметрами ранней англо-американской пушкинистики. Внутренние же параметры касаются толкования произведений Пушкина, в том числе выработанных в английской, англо-американской критике XX в. интерпретаций романтизма и реализма в его творчестве. Одна из наиболее оригинальных и влиятельных концепций такого рода была задана в научно-просветительских работах о русской литературе Мориса Бэринга — английского дипломата, журналиста, писателя, переводчика, составителя антологии русской поэзии (на русском языке) для «русских факультетов» Англии [11], сыгравшего важнейшую роль в формировании англо-американской пушкинистики в период 1910–30-х годов[3].

Показательно, что главу о Пушкине из его «Очерка истории русской литературы» (1914) и Введения в «Оксфордской антологии русской поэзии» (1925) Д.С. Мирский — «автор лучших на английском языке книг по истории русской литературы» [6. С. 218] — характеризует как «несомненно, лучшее из всего, что написано о Пушкине на английском (и любом другом) языке» [19. P. 239–240].

Основная часть

Сильное воздействие «Очерка…» Бэринга и его «Оксфордской антологии русской поэзии» на общее представление англоязычного интеллектуального читателя о русской литературе отмечено в еженедельнике «Британский союзник» в статье «К смерти Баринга» (1946). Более того, следы его влияния обнаруживаются и у Мирского в его «Истории русской литературы» (1927) и монографии о Пушкине (1926), и в трудах профессора славистики в университете Ноттингема и друга Мирского с начала 1920-х Янко Лаврина, и в работах выдающихся англичан-славистов, преподавателей (в разные периоды) Оксфордского университета Сесила Баура и Джона Бейли.

О русской литературе М. Бэринг написал две различающиеся по своим задачам и принципам составления книги: книгу-подступ к проблеме «Вехи русской литературы» (1910) и уже упомянутый и более подробный «Очерк истории русской литературы». Концепция пушкинского творчества, в общих чертах изложенная в «Вехах…» и более содержательно в «Очерке…», была воспроизведена им десятилетием позже в развернутом предисловии к «Оксфордской антологии…», выдержавшей за период 1920–60-х годов восемь переизданий.

Этнокультурная интерпретация пушкинского творчества была сформирована уже «Вехах…». Ее суть определяется распознаванием в произведениях Пушкина черт имманентного реализма (позитивизма), свойственного русскому национальному характеру — черт, о которых Бэринг подробно рассуждает в книгах «Русский народ» [15] и «Истоки России» [14].

Стремясь определить и пояснить характерные черты русской литературы для себя и англоязычного читателя, в «Вехах…» Бэринг исходит из общего утверждения о том, что вся русская поэзия «основана на выраженном здравом смысле, вся пропитана им» и что в этом она не похожа ни на поэзию немецкую, ни на английскую или французскую [12. P. 25]. В качестве ярчайшего примера Бэринг указывает на «величайших русских поэтов» Пушкина и Лермонтова: в отличие от Шелли или Мюссе они не возводят башни отвлеченных размышлений и не адресуют своему

[2] Имеется в виду монография Д.С. Мирского «Пушкин» [19].

[3] Знакомство Бэринга с Россией началось в 1904 г., когда он как секретарь английского посольства познакомился с семьей графа Бенкендорфа, а затем приехал в их имение в селе Сосновка Тамбовской области. В 1905 г. он стал корреспондентом лондонской газеты «Морнинг пост» в России и оставался в этом статусе вплоть до 1912 г. За то время он оказался свидетелем Русско-японской войны и Революции 1905 г., глубоко освоил русский язык, увидел самые разные стороны русской жизни, высоко оценил творчество Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого.

читателю революционно-мятежные призывы, но «извлекают поэзию из обыденности». Пушкин находит для этого извлечения «сбалансированную до совершенства» форму, интуитивно спаянную со здравым смыслом [12. P. 27].

В «Очерке…» перед Бэрингом стоит новая по сравнению с «Вехами…» задача — кратко описать творческий путь поэта. В связи с этим в книге поднимается вопрос о периодах развития пушкинского творчества: в частности, об ориентации его ранней поэзии на французскую литературу XVIII в., о живом восприятии поэтики Байрона в «южных» поэмах, о преодолении байронизма в «Евгении Онегине», шутливых поэмах и «Полтаве», об историческом реализме «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки». Соответственно, Бэринг в «Очерке…» различает реализм творчества Пушкина как имманентную укорененность в чувстве реального и реализм как эстетическую ориентацию на верное изображение действительности [1. С. 6], «правду простой жизни и точного смысла» [10. С. 195].

Это второе представление о поэтике «обычной жизни» и «русского характера» в зрелом творчестве Пушкина Бэринг вводит в характерной для британского «эмпирического» менталитета манере с опорой на общие представления английского читателя о романах Тургенева и Толстого:

> «Онегин» — это роман <…> столь же реалистический, сколь реалистичны романы Толстого, и столь же совершенный стилистически и композиционно, сколь совершенны романы Тургенева <…> Это история обычной жизни» [13. P. 74, 80].

В русле идей Достоевского он особо выделяет правдивость типа русской женщины, «схваченного» в образе Татьяны:

> Ни Тургенев, со всем его волшебным мастерством, ни Толстой, со всем его умением изображать жизнь, не создали более правдивого, более сияющего, более типичного [образа] русской женщины [Ibid. P. 75–76].

При этом, переходя к характеристике творчества Лермонтова, Бэринг находит необходимым снова выделить «неромантичность» пушкинского романтизма, его «заземленность»: «Его творческий путь был вне романизма; он был укоренен в земной жизни <…> Романтическое направление в России было, если говорить о Пушкине, далеко не романтическим направлением» [Ibid. P. 98, 101). И поясняет: пушкинский романтизм был глубоким обновлением поэзии, связанным с избавлением от догм классицизма, и романтизмом его можно называть только постольку, поскольку нет более подходящего слова.

Постепенно из оценок и описаний «пушкинской» главы «Очерка…» рождается синтез этнокультурной интерпретации пушкинского творчества с культурно-эстетическим подходом к художественному слову — синтез, в котором Пушкин в целом предстает уникальным проявлением гения русского народа и в котором, наряду с характеристиками «поэт обыденной действительности» и «все-обнимающей человечности»[4], ключевым становится определение «великий художник», «влюбленный в красоту» [13. P. 96, 98]. Явственно этот синтез осуществлен в термине «классицист»: под «классицизмом» Пушкина Бэринг понимает сочетание «здравомыслия» и «реализма» с «основательностью концепций и идей» и «прозрачностью» и «завершенностью» «безупречной формы» [Ibid. P. 99].

Этнокультурное толкование «человечного реализма» Пушкина в «Очерке…» и «Вехах…» Бэринга на смысловом уровне смыкается с его высказываниями о русском национальном характере в «Истоках России» и «Русском народе». В первой из этих книг Бэринг указывает на здравый смысл, жизнерадостность и чувство юмора как на черты, присущие русскому крестьянину [14. P. 60]. Во второй — отмечает, что свойственный ему здравый смысл, проявляемый в смекалке и практическом чутье, является лишь формой общего «духа позитивизма и реализма», свойственного

[4] Здесь Бэринг прямо ссылается на Достоевского и его идею всечеловечности русского человека [4].

русскому народу [Ibid . P. 53]. В то же время для него очевидно, что реализм в русском человеке сочетается с адаптивностью и человечностью [Ibid. P. 40]. Не случайно в «Очерке…» он открыто соглашается с Достоевским в том, что «способность понять все и каждого» (наравне с чувством реальности) делает Пушкина поэтом «глубоко русским» [Ibid. P. 96].

Следует отметить, что взгляды М. Бэринга на русского крестьянина, как и его стремление объяснить национальную поэзию национальным характером, не были чем-то совершенно исключительным в контексте доминирования в гуманитаристике культурно-исторического метода, равно как и в контексте пробудившегося в конце XIX — начале XX в. глубокого и сочувственного интереса европейцев к России и всему русскому. О здравом смысле русского крестьянина (см.: [21. Vol. 1. P. 6–10]) до Бэринга подробно писал в своих записках о путешествиях по России (1877; в период рубежа веков книга выдержала десять изданий) Дональд Маккензи Уоллес — британский журналист и писатель, который провел в России около шести лет и стал впоследствии одним из инициаторов создания Англо-русского литературного общества.

Что же касается характерного для Англии начала века «этнокультурного» восприятия творчества русских писателей, приведем лишь один пример. В сборнике эссе «Еще четыре силуэта писателей» (1928) Дж. Голсуорси выделяет Чехова не только как художника слова, которому удалось запечатлеть жизнь в ее «трепетности и калейдоскопической пестроте», но и как автора с «безошибочным чувством типично русского характера». Сердцевиной же всего русского Голсуорси называет в эссе о Чехове «чувство» и пренебрежение «материальными ценностями и принципами» [2].

Не останавливаясь на причинах сочувственного интереса к России и всему русскому, который пробудился в западной интеллектуальной среде в 1870–80-е годы и который достиг своего пика в 1920-е в виде «моды на все русское» (С. Моэм), отметим только, что именно на этом фоне для английской пушкинистики первой половины XX в. «Пушкинская речь» Достоевского стала, безусловно, авторитетной характеристикой творчества поэта [8]. Кроме прочего, она утверждала английских интеллектуалов в этнокультурном подходе к пушкинскому творчеству.

Обобщая, можно сказать, что этнокультурная интерпретация реализма в творчестве Пушкина, сформированная в работах М. Бэринга под влиянием «Пушкинской речи» Достоевского, определяется соотнесенностью представлений о литературе с представлениями о национальном характере. В соответствии с этим толкованием реализм Пушкина понимается как «чувство реальности», т.е. общая ментальная установка на «близость природе и факту», проявляющаяся в том числе в «южных поэмах» и лирике романтического периода. Отдельно Бэринг говорит о реализме зрелого творчества Пушкина в связи с эстетической установкой на правдивое изображение действительности. Термин «романтизм» применительно к творчеству Пушкина в рамках этого подхода подвергается сомнению, в связи с чем Бэринг настойчиво противопоставляет пушкинский романтизм европейскому. Реализм как «чувство реальности» в характеристике творчества Пушкина у Бэринга тесно сопряжен с человечностью и высшей (свойственной русскому человеку) формой ее проявления — всечеловечностью.

В 1920-е годы в трудах Д.С. Мирского оформилась иная интерпретация пушкинского реализма — культурно-эстетическая, одновременно соотнесенная с этнокультурным его толкованием и дистанцированная от него. Размышления Мирского об «особенном русском реализме», укорененном в чувстве реальности, восходящем к «Евгению Онегину» и подразумевающем поэтизацию действительности при верности ее изображения ([19. P. 88], никак не соотносятся с тезисом о «русскости» Пушкина. Наоборот, в культурно-эстетической концепции Мирского поэт предстает гением, связанным не с русским народным сознанием, а с высокой дворянской культурой, при этом вся послепушкинская культура озаряется им, его поэтикой, в том числе и его

особенным реализмом. Характерно в этом плане его высказывание о Пушкине как о «последнем цвете» «петровской цивилизации»:

> Пушкин — это последний цвет <…> специфической цивилизации, <которая> зачата Петром Великим <…> и начала разлагаться при Николае I. <…> Гений Пушкина был создан высокой и специфической космополитической цивилизацией русского дворянства [20. P. 120, 122].

Не столько культурно-эстетической, сколько этнокультурной интерпретации реализма в творчестве Пушкина суждено было повлиять на формирование новых представлений о Пушкине и его творчестве в Англии и США на следующем этапе — в период второй половины 1940-х — первой половины 1960-х годов. Более того, этнокультурная парадигма с ее акцентом на осмыслении «русскости» Пушкина, проложила дорогу имагологическому мифу о России[5] в литературно-критические работы о Пушкине.

В послевоенной научно-популярной книге «Пушкин и русская литература», вышедшей в 1947 г. из-под пера Янко Лаврина, глава о Пушкине практически открывается сравнением роли Петра I в исторической судьбе России с ролью Пушкина в развитии русской культуры:

> Если Петр I «присоединил» Россию к Европе и в то же время сделал ее могущественной державой, то Александр Сергеевич Пушкин <…> достиг <…> подобных результатов в области русской литературы и <…> русской культуры в целом» [18. P. 17].

Эту параллель Лаврин вслед за Бэрингом объясняет этнокультурным основанием их личностей. С эксплицитной опорой на «Пушкинскую речь» Достоевского и на размышления Мережковского о Пушкине и Петре ученый так поясняет подобие личностей царя и поэта:

> Они взаимоподобны в своей широте, в способности ассимилировать [чужое], в интуитивном схватывании духа времени, равно как в русскости характера; <…> их космополитические симпатии не <…> нарушили того, что было сущностно русским в обоих [Ibid.].

В русле этнокультурной пападигмы понимает Лаврин и сущность пушкинского реализма, описывая его вслед за Бэрингом как “matter-of-factness” («укорененность в реальной действительности»). Он, как и Бэринг, утверждает имманентность пушкинского «чувства реальности» и, развивая этот тезис, опирается на такие внерациональные его признаки как «интуиция» и «дух»: «Его [Пушкина] интуиция жизни шла от самой жизни во всем ее разнообразии» [18. P. 73]. Продолжая эту мысль, Лаврин подчеркивает, что для творчества Пушкина характерно гармоничное слияние «художественных традиций Запада» с «истинно русским духом» [Ibid. P. 74–75].

Этнокультурная интерпретация пушкинского реализма своеобразно реализована в статье о пушкинском «Медном всаднике» американского публициста и одного из ведущих литературных критиков своего времени (в характеристике энциклопедии “Britannica”) Эдмунда Уилсона. В его книге, вышедшей в 1952 г. в одном из центральных лондонских издательств, основной конфликт поэмы описан как «трагическое противостояние между правом обычного человека на мир и счастье и правом государства на конструктивное доминирование» [22. P. 52]. Дальнейшее толкование сюжета поэмы приводит Уилсона к отождествлению протеста «бедного клерка Евгения» против «Вечного Порядка» [Ibid. P. 55] самодержавия с безуспешными попытками советских инакомыслящих противостоять тоталитарному режиму Сталина, а Медного всадника, преследующего Евгения, — с государственной советской машиной. Искажая фабулу и сюжет пушкинской поэмы, притягивая их, по всей видимости, к современной политической ситуации, Уилсон утверждает:

> Инакомыслящие и дерзающие протестовать, как Евгений, слышат позади себя всадника, только не медного, а стального; не имеет значения, куда они направляются, они не могут спастись: он бросает их в тюрьмы ГПУ так же неотвратимо, как Евгений оказался поглощенным водами Финского залива [Ibid. P. 55–56].

[5] Под имагологическим мифом здесь подразумевается сложная «семиотическая структура национальной культуры», в которой зафиксирован национальный или же общественно значимый исторический, политический, эстетический опыт освоения иного национального мира» «в виде образов, символов, стереотипов, сюжетов и т.п.» и которая имеет «способность сохранять и наращивать свои смысловые слои» [7. С. 12].

Оправдывая буквализм этой параллели, как и одностороннюю оценочность интерпретации сюжета пушкинской поэмы, Уилсон размышляет о том, что русский народ в целом есть общество, рожденное (вместе с) деспотией и что в связи с этим попытки построить социализм в России неизбежно упираются во вневременной насильственный характер отношений между властью и народом. В этом суждении этнокультурный подход к реализму Пушкина явственно смыкается с имагологическим стереотипами о деспотичной власти в России и склонностью русского народа к насилию.

Уилсон не рефлексирует над имагологическим подтектом своего суждения, но находит в «Медном всаднике» оправдание ему в соответствии действительности: «…эта повесть в стихах — одно из тех произведений русского о русских, которое в высшей степени отчетливо освещает русский характер» [Ibid. P. 55]. За русским характером в эссе закреплена склонность к неестественной насильственности, причем в отношениях как между обществом и властью, так и между человеком и природой.

Следы этнокультурной парадигмы пушкинского романтизма и реализму сохраняются в англо-американской критике в период 1970–80-х годов. В частности, она прослеживается в некоторых фрагментах книги профессора Оксфордского университета Дж. Бейли «Пушкин. Сравнительное исследование» (1971). В целом она опирается на сравнительно-исторический метод и методику пристального чтения и в этом отчасти наследует парадигме осмысления творчества Пушкина, выработанной Д.С. Мирским. Внимание к достижениям советской пушкинистики, вчитывание в текст и глубокое проникновение в разнообразные контексты подталкивают исследователя к «классическому» историко-литературоведческому пониманию пушкинского реализма как точного, детального, разностороннего и объективного изображения природного и культурного мира, схваченного в процессуальности прошлого и/или настоящего.

Не случайно, помещая «Пушкинскую речь» в контекст полемики о русском самосознании, Бейли признает за Достоевским правоту в выявлении не «всечеловечности» (универсальности) и народности творчества Пушкина, а реализма как основополагающей черты пушкинского гения (не увязывая ее с национальным характером):

> Как бы ни были отрывочны и эмоциональны рассуждения Достоевского об универсальности пушкинского гения и о его способности духовно перевоплощаться, они, так или иначе, улавливают кое-что, что действительно существенное — пушкинский <…> реализм, способность вообразить и воплотить в своем творчестве исторический процесс и роль, которую сыграли в нем разные классы и отдельные личности [16. P. 18].

И однако же оригинальная стереоскопичная интерпретация историзма поэмы «Медный всадник» в этой монографии окрашена особым имагологическим пафосом. Выдвигая в качестве опорного тезиса мысль о том, что «Медный всадник» «видит историю <…> в терминах исторического детерминизма», исследователь выделяет особую «семейственную» интонацию, которой пронизано Вступление: «Пушкин не восхваляет столицу в прямом смысле. Вместо этого он причисляет читателя к “одному из нас” <…>, жителям города Петра, для которых он сам есть и жизнь, и природа» [Ibid. P. 135]. В связи с этим наблюдением особое внимание Бейли в основной части «петербургской повести» привлекает смена интонации: «После этого единства мы теперь испытываем отчуждение и беспокойство» [Ibid. P. 138]. Бейли справедливо прочитывает эту смену как знак проблематизации семейственно-родственных отношений не только в выстроенной Петром I государственной системе, но и в созданной в связи с этим новой системе ценностей — проблематизации, которая стала в представлении исследователя глубинной основой поэмы, объединяющей Вступление и основную сюжетную ее часть.

При этом ценностью родовой семейственности, по мысли Бейли, пронизана не только пушкинская поэма, но вся русская культура, что сказывается на восприятии русским человеком

исторического и политического процессов. Эта мысль включает в исследовательский дискурс этнокультурную интерпретацию пушкинского реализма, через него же в рассуждения Бейли проникают имагологические стереотипы. Ученый, в частности, указывает:

> Для русского человека патриотизм отнюдь не мрачное чувство, потому что <…> [оно] освобождает его от внутренней тирании. Его [патриотизма] атавизм безответствен и весел и не требует никакого почитания или справедливости [16. P. 136].

В имагологически этнокультурном ключе дан вывод об основном содержании пушкинской поэмы:

> …в «Медном всаднике» <…> он [Пушкин] дает голос фаталистичному молчаливому согласию русского человека на абсолютные формы правления — согласию, имеющему историческое значение. Даже его [Пушкина] увлеченность феноменом Петра Великого обнаруживает не только интеллектуальную независимость и проницательность, но и глубинное, почти суеверное благоговение русского народа перед его наиболее энергичными тиранами, будь то Петр или Сталин [Ibid. P. 145].

Схожим образом монография «Александр Пушкин. Критическое исследование» (1983) Энтони Бриггса — профессора Бирмингемского и Бристольского университетов, признанного переводчика русской классической литературы, автора научных изданий о Пушкине, Толстом, Достоевском, Чайковском — обнаруживает следы этнокультурной парадигмы. Так, в «Медном всаднике» ученый прочитывает ряд аллюзивно затрагиваемых в поэме национальных русских вопросов, в том числе о сближении России с Европой или дистанцировании от нее; соперничестве Москвы и Петербурга; историческом смысле декабристского восстания; взаимоотношении власти и народа; отношении между частным человеком и государством. В этой последней точке, как подчеркивает исследователь, национальная русская проблематика размыкается на общечеловеческую, фундаментальную. Озвучивает же ее Бриггс следующим образом:

> Евгений <…> может быть <…> понят как воплощение любого частного человека, захваченного большим движением истории. Его судьбой повелевает она, и она же разрушает его простые мечты, как и мечты любого простого человека [17. P. 122].

Через изображение наводнения, как и через Вступление, посвященное Петербургу и Петру, национальная проблематика пушкинской поэмы, по мысли ученого, размыкается снова на общечеловеческую. Бриггс подчеркивает, что «Медный всадник» поднимает вопрос о том, каково положение человека по отношению к природе, имеет ли он право противостоять ей, реализуя собственные планы [Ibid. P. 122]. Сопоставление двух частей и сюжетных линий поэмы приводит его и к формулировке третьего фундаментального вопроса, составляющего вместе с другими обозначенными, смысловую основу текста: вопроса об исторической судьбе и судьбе частного человека — о предначертанности судьбы, а также возможности ее воплощения в историческом гении [Ibid. P. 124].

Стройность и строгая академичность размышлений Бриггса над пушкинским текстом нарушается тогда, когда он, отталкиваясь от культурно-исторического содержания поэмы, высказывает суждения о русском народе, столь же имагологически окрашенные (и поэтому вполне узнаваемые), сколь исторически и политически неточные.

> Пушкинская поэма, — указывает исследователь, — призывает к размышлению над политическим вопросом, который волновал его соплеменников веками: об автократии и народе [Ibid. P. 121].

И утверждает далее, фактически озвучивая стереотипное представление носителя западного коллективного сознания:

> Проблема в том, что Россия, кажется, нуждается в сильном, решительном лидере. <…> С другой стороны, как насчет прав обычных людей, управляемых диктатурой? <…> Мы [читатели поэмы] остаемся с дилеммой выбора между двумя противоположными принципами, автократии и демократии [Ibid].

Заключение

Этнокультурная интерпретация реализма А.С. Пушкина оформилась в трудах Мориса Бэринга в 1910-е годы под влиянием «Пушкинской речи» Достоевского. В рамках этой концепции пушкинский реализм был понят как общая ментальная установка на «близость природе и факту», смягчаемая «всечеловечностью», и соотнесен с реализмом (позитивизмом, здравомыслием) и адаптивностью как основными чертами русского национального характера. Этнокультурная интерпретация реализма имела длительное влияние на осмысление творчества Пушкина в англо-американской критике XX в. и в силу этого приобрела черты парадигмы.. Обладая потенциалом адаптации к контексту эпохи и различным научным методологиям, она не только способствовала формированию авторских концепций пушкинского творчества, но и предопределила проникновение в научный дискурс элементов дискурса имагологического. Она получила развитие в концепции интуиции жизни и духа времени в творчестве Пушкина (Я. Лаврин), а также нашла отражение в трактовках идейного содержания поэмы «Медный всадник», соотносимого в работах второй половины XX в. со стереотипами о деспотичной власти в России и склонности русского народа к насилию (Э. Уилсон), с имагологическими представлениями о благоговении русского народа перед энергичными тиранами (Дж. Бейли), с вопросом о выборе между русской автократией и западной демократией (Э. Бриггс).

Литература/References

1. *Бонди С.М.* Рождение реализма в творчестве Пушкина // Бонди С.М. О Пушкине: Статьи и исследования. М.: Худож. лит., 1978. С. 5–168.

Bondi S.M. Rozhdenie realizma v tvorchestve Pushkina // Bondi S.M. O Pushkine: Stat'i i issledovaniia. Moscow: Khudozh. lit., 1978. S. 5–168.

2. *Голсуорси Дж.* Еще четыре силуэта писателей / пер. М. Лорие // Голсуорси Дж. Собр. соч.: в 16 т. М.: Правда, 1962. Т. 16: Статьи, речи, письма. URL: http://lib.ru/INPROZ/GOLSUORSI/golsworthy16_4.txt

Golsuorsi Dzh. Eshche chetyre silueta pisatelei / per. M. Lorie // Golsuorsi Dzh. Sobr. soch.: v 16 t. Moscow: Pravda, 1962. T. 16: Stat'i, rechi, pis'ma. URL: http://lib.ru/INPROZ/GOLSUORSI/golsworthy16_4.txt

3. *Григорьев А.Л.* Пушкин в зарубежном литературоведении // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука. Ленигр. отд-ние, 1974. Т. 7: Пушкин и мировая литература. С. 221–250.

Grigor'ev A.L. Pushkin v zarubezhnom literaturovedenii // Pushkin: Issledovaniia i materialy. Leningrad: Nauka. Lenigr. otd-nie, 1974. T. 7: Pushkin i mirovaia literatura. S. 221–250.

4. *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений: в 15 т. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1995. Т. 14. С. 425–440.

Dostoevskii F.M. Sobranie sochinenii: v 15 t. Leningrad: Nauka, Leningr. otd-nie, 1995. T. 14. S. 425–440.

5. *Ефимов М.В.* Д.П. Святополк-Мирский — историк русской литературы и литературный критик. Годы эмиграции (1920–1932): автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2017.

Efimov M.V. D.P. Sviatopolk-Mirskii — istorik russkoi literatury i literaturnyi kritik. Gody emigratsii (1920–1932): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. St. Petersburg, 2017. 390 s.

6. *Казнина О.Д.* Мирский. Несобранные статьи по русской литературе // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 218–232.

Kaznina O.D. Mirskii. Nesobrannye stat'i po russkoi literature // Voprosy literatury. 1990. No. 1. S. 218–232.

7. *Королева С.Б.* Миф о России в британской культуре. М.: Флинта, 2023. 384 с.

Koroleva S.B. Mif o Rossii v britanskoi kul'ture. Moscow: Flinta, 2023. 384 s.

8. *Королева С.Б.* «Пушкинская речь» Достоевского как архетекст английской пушкинистики XX века // Достоевский и мировая культура. 2025. № 1. С. 197–219. DOI: 10.22455/2619-0311-2025-1-197-219

Koroleva S.B. «Pushkinskaia rech'» Dostoevskogo kak arkhetekst angliiskoi pushkinistiki XX veka // Dostoevskii i mirovaia kul'tura. 2025. No. 1. S. 197–219. DOI: 10.22455/2619-0311-2025-1-197-219

9. *Мирский Д.* Новые книги о Пушкине и его эпохе // Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 35–37.

Mirskii D. Novye knigi o Pushkine i ego epokhe // Mirskii D. O literature i iskusstve: Stat'i i retsenzii 1922–1937. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. S. 35–37.

10. *Лотман Ю.М.* Пушкин: Очерк творчества // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя: Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 187–211.

Lotman Iu.M. Pushkin: Ocherk tvorchestva // Lotman Iu.M. Pushkin: Biografiia pisatelia: Stat'i i zametki, 1960–1990; «Evgenii Onegin»: kommentarii. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB, 1995. S. 187–211.

11. *Baring M.* The Oxford book of Russian verse. Oxford: Clarendon Press, 1971. 311 p.
12. *Baring M.* Landmarks in Russian literature. New York: The Macmillan Co, 1912. 299 p.
13. *Baring M.* An outline of Russian literature. New York: H.Holt and Co; London: Williams and Norgate, 1915. 256 p.
14. *Baring M.* The mainsprings of Russia. London: Thomas Nelson and Sons, 1914. 328 p.
15. *Baring M.* The Russian people. 2nd ed. London: Methuen and Co, 1911. 366 p.
16. *Bayley J.* Pushkin: a comparative commentary. Cambridge: CUP, 1971. 368 p.
17. *Briggs A.D.P.* Alexander Pushkin. A critical study. London: Croom Helm, Barnes and Noble books, 1983. 257 p.
18. *Lavrin J.* Pushkin and Russian literature. London: Hodder and Stoughton LTD, for the English University Press, 1947. 226 p.
19. *Mirsky D.S.* Pushkin. London: G. Routledge and Sons, LTD. New York: E.P. Dutton and Co, 1926. 266 p.
20. *Mirsky D.S.* Pushkin // Mirsky D.S. Uncollected writings on Russian literature. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989. 406 p.
21. *Wallace D.M.* Russia: in 3 v. Boston: J.B. Millet, 1910.
22. *Wilson E.* The Bronze Horseman // Wilson E. The Triple Thinkers. Twelve Essays on Literary Subjects. London: John Lehmann, 1952. 275 p. P. 52–63.
23. *Yarmolinsky A.* Pushkin in English: A list of works by and about Pushkin. New York: The New York publ. library, 1937. 32 p.

Королева Светлана Борисовна,
доктор филологических наук, доцент,
заведующий научно-исследовательской лабораторией
«Фундаментальные и прикладные исследования аспектов
культурной идентификации»
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова

Koroleva Svetlana B.,
Doctor of Philology, Associate Professor,
Head of the Scientific Research Laboratory “Fundamental and
Applied Research on Aspects of Cultural identification”
Nizhny Novgorod State Linguistic University
named after N.A. Dobrolyubov

e-mail: svetlakor0808@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7587-9027

Статья поступила: 18.07.2025
Принята к печати: 21.09.2025